

Каринэ АРУТЮНОВА

Каринэ Арутюнова родилась в Киеве, жила в Израиле с 1994 по 2009 год. Автор нескольких книг прозы, в том числе «Пепел красной коровы» (СПб, 2011), «Скажи красный» (М., 2012), «Цвет граната, вкус лимона», «Падает снег, летит птица» (Каяла, 2017), «Нарекаци от Лилит» (Каяла, 2019), «Мой друг Бенджамен» (Киев: Наури, 2020). Публикации в журналах «Зарубежные записки», «Сибирские огни», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал», «ШО» (Киев), «Новый мир», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2013 года.

НА УЛИЦЕ БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ

(записки из заточения)

Утренний свет такой едва слышимый, едва уловимый.

Слово «дождь» не передаёт монотонности стекающих капель.

Пожалуй, – только «маим» (вода, ивр.).

Ма-им – будто яма, заполненная дождевой водой, в ней влаги на много жизней вперёд, и если бы не вязкость ее, гигроскопичность, одному богу известно, что творилось бы в этой самой яме. Но земля впитывает влагу, всасывает ее, набухает, угрожая грядущим плодородием. Ненасытная, точно исполинская самка, поглощает она тонны воды, – затянутая пленкой пластика, коркой бетона и асфальта, корчится, тужится, кряхтит, и – о, чудо чудное, – чахлый росток пробивается из недр ее, – такой, казалось бы, слабый и едва различимый посреди нагромождения бездарной (будто в снятой поспешно мебелированной квартире) планировки городских окраин.

Жизненная сила ростка и заключённый в нем будущий свет, напитавшись сегодняшней влагой, завтра станут деревом, листом, тугими прожилками на нем, ароматом и цветом и, собственно, самим светом, заимствованным из монотонности стекающей воды, из сырости и глубины наполненной мутной водой ямы.

И слово «маим» (в иврите воды и небеса, шамаим, даны во множестве, и в этом отличие от одномерности, плоскости воды и неба – как наивно раскрашенная ребенком картинка отличается от работы мастера) внезапно наполняется глубиной, объемом, спектром и перспективой.

Дождь. На улице Белой Королевы дождь. Пришла поздороваться с этим миром. И увидеть, что он все же хорош.

Сиди дома. Не сиди дома. Дыши воздухом. Читай новости. Сходи с ума. Медленно, но, увы, неизбежно. От ссылок и репортажей рябит в глазах, ощутимо нарастает напряжение, до спазма в груди. Знаете, как тревога разрушает изнутри? Отбирает чувство жизни, сиюминутное, вот прямо сейчас. Но – не заглядывать невозможно. В пятый (десятый) раз читаешь рекомендации. Моешь руки. Опять моешь. С опаской открываешь дверь в подъезд. Сталкиваешься с супружеской четой, соседями, короткое приветствие (отмечаю про себя, что дыхание зажато, но силой мысли заставляю себя дышать свободно, вон и птички поют, и жизнь налаживается уличная). Ну да, птичка поет, потому что дура. Не читает за завтраком газет. Ни советских, ни других.

Собираюсь идти за хлебом насущным. Надо это... салфетки влажные, очень удобно. Одноразовых перчаток упаковку, и вот. Мыло. Люблю, когда его много, ароматного, разного. Выдвигаешь ящичек, а там благоухающее мыльце в нарядной упаковке. Соль (армяне любят соль, – папин голос).

Сахар. Тростниковый. Кусковой. Это важно.

Есть вещи незыблемые, стабильные. Например, серебряная сахарница из дома моего папы. Из его самого первого дома. И даже, по всей видимости, из дома его отца. Она не должна пустовать. Простаивать. Распечатываешь коробку, заполняешь уютное пространство сахарницы. Щипчиками (они пришли в дом вместе с сахарницей).

Такие простые действия. Один, два, три. Надо же, успокаивает. Что-то обыденное. Важное. Придет момент, и каждый кубик будет в цене.

Стайка хохочущих подростков, всклокоченные головы, разноцветные рюкзаки, разболтанные движения. Девушки в огромных, будто белые парусники, кроссовках. Губки, бровки, селфи. Плывут, покачиваясь на ветру. Он тебе написал? Ты серьезно? И что ты ответила? А он что?

Чувство смелости, лёгкости, преступной наивности, безалаберности. Запах жизни.

Старушка в стоптанных ботах прутом подзывает рыжего лохматого пса. Она тут часто, старушка эта. Лицо красивое, без дураков. Ладонью прикрывает глаза. В зрачках отблеск солнечный, пелена многих жизней, тихое свечение.

Жалуется (без гнева) на непутевую дочь, говорит о внучке – вот, подарила щенка, а «оно мне надо?» Но не выбросить же, так и живём. В любую погоду. Пыльные чоботы, шерстяной платок, душегрейка, рыжий пёс, длинная веревка. Вирус? Какой такой вирус. Тут один день как огромная жизнь. Как бесценный дар.

Перчатки, латекс, спички, соль. Про соль все понятно. Сахар вот тоже. Кивает, будто вспоминает что-то, из давнего.

Улыбается всеми морщинами. Это ей как раз понятно. В сложные времена ценность приобретают самые простые вещи. Рукопожатие – холодное, отстраненное, теплое, подбадривающее, горячее, влажное, пугливое, тревожное. Объятие, так быстро сокращающее дистанцию между людьми, поцелуй.

Стоп. О чем это я? О сахаре. О сахарнице. Она заполняется потихоньку, и это уже хорошо. Один, два, три...

С новыми порядками мой прежний образ жизни почти не изменился, но тем не менее появилось странное – наряду с захлопывающимися дверками (пространств) – ощущение внезапно подаренного (отнятого?) времени.

Вдумайтесь только, – если по мановению волшебной палочки можно замедлить темп большинства живущих на этой планете, то почему нереальным кажется возвращение непрожитого отрезка жизни?

Закроешь глаза и видишь, как вырывается из-под стражи замедленное время, как, будто огромный муравейник, оживает затихший мир, как взрывается миллионом огней, петард, как это все происходит – момент прорыва, выздоровления, – как торжествует былая небрежность, возвращается легкость сближения, касаний, свободы.

Заполненные до отказа ячейки памяти не дают уснуть окончательно. Напротив, все более явственными и отчетливыми становятся воспоминания. Ныряешь в них, будто в волшебный подводный мир, фильтруя и отбрасывая ненужное.

Когда заканчиваются сюжеты, снимки, слова – на помощь приходят запахи.

Вот так пахнет лак, которым вскрыли паркет в новой квартире. Вот так пахнет рубашка моей первой любви. А это запах августа, густой, глубокий, насыщенный, с легкой горчинкой – так пахнет зрелая, знающая себе цену, охваченная поздней страстью женщина. О, как хороша она, как беспощадно прекрасна в своей отчаянной смелости, – накануне долгой зимы.

А это запах нагретого солнцем старого дома, а это аромат моих пятнадцати. А так пахнет выстиранная накануне красная майка – она очень идет мне, восемнадцатилетней, кроме всего прочего, другой майки у меня нет, – как и других джинсов, впрочем, но ничего иного мне и не нужно – майка, джинсы, ускользающий август, полупустая платформа

метро. А это горечь (разрыва, расставания, отъезда, ухода) – двадцати, тридцати, – слышишь, как ветви стучат в окно? как ускоряется шаг?

Шабат, другой, третий, двадцатый – пятнадцати лет как не бывало, – кажется, только вернулся с шука, раскидал все по полкам, только нашел квартиру, только подписал договор, только оплатил, – дни, будто вырванные листки чековой книжки банка «леуми» (банк в Израиле).

Долгие часы (о, уныние, помноженное на знание) в ульпане, дорога домой, низкие потолки, жалюзи, лимонное дерево во дворе, свора голодных котов, сосед сверху, наблюдающий в бинокль.

Как пахнет тоска, как уголком загибается лист прочитанной книжки, как время пролистывает самое себя, застревая на годы. Что там, вдали? Окна казенных корпусов? Запахи страха, напускной бодрости, отчаянья, надежды.

Свет далеких окон, нежность скомканных слов, – дай силы не забыть эти лица, ладони, глаза, – сопровождающих на каждом ухабе.

Как привычно склоняется к плечу разморенная светом голова, как смягчаются черты, обостренные знанием.

Как пахнет жизнь, подаренная... господи, ни за что, просто так, еще одна. Новая, неизношенная, целая.

Вот эта женщина, бредущая под раскаленными лучами с прижатой к уху трубкой (я слышу голос, сорванный отчаяньем, – мне тридцать пять, понимаешь? а я ничего не успела), – я вижу ее отсюда, из глубины карантинных (проживаемых один за другим дней) – и слышу запах надвигающейся беды, которую не спутаю с унынием или, допустим, тревогой, – он нарастает, точно снежный ком, и время идущей по пустынной улице (о, гулкость каждого шага в колодце двора) уж никак не сравнить с сегодняшним, лишенным запаха и вкуса, похожим на бессрочное ожидание то ли начала новой жизни, то ли конца предыдущей.

За день солнце совершает кругооборот вокруг дома и, соответственно, нашей квартиры, которая расположена в торце.

Я следую да ним, перемещаясь в лоджию, а из нее в боковую комнату.

Утро я встречаю у мольберта, постепенно сдвигая его вдоль, открывая окно за окном. Господи, это такое упоительное путешествие! Тень от треноги становится острее, чётче, там и сям следы от маленьких лап моего друга. Наконец-то мы живём в унисон, радуясь простым вещам. Солнце включили, места под ним хватает. Да, вдобавок нашелся теннисный мячик, пропавший из поля зрения в прошлом году.

По мере передвижения вслед за проснувшимся светилом обнаруживается уйма предметов. Упаковки кисточек (про запас), коробки с пастелью, карандашами, засохший растворитель, ретушный лак, свечи, коллекция монет, полная коробка из-под леденцов с турецкими лирами, армянскими драмами, грузинскими лари.

Будет чем занять себя долгими вечерами, перебирая горсть монеток и загадывая, пригодятся они когда-нибудь или нет. Некоторые из них (грузинские лари с нанесенной на их поверхность утонченной чеканкой) можно разглядывать часами

Жаль, канула в Лету коллекция пуговиц, марок, запонок, зажигалок и курительных трубок.

Как, однако, удивителен мир затерянных (в недрах домов) предметов, обладающих памятью и связью с прошлым. Записная книжка с ненужными телефонами и адресами. Шнуры и зарядки от бездействующих телефонных аппаратов (о, сколько тайн таят они в своих проводках и мембранах), сколько будничных, смешных и горьких фраз.

А чёрно-белые снимки ушедших эпох?

Из окна моей комнаты можно наблюдать угасание дня. Как медленно солнце опускается за крыши домов, и где-то там (уже за ними) его последние лучи касаются земли.

Долгое путешествие заканчивается на подоконнике, и я вспоминаю героиню одной картины из старого подольского дома на улице Притисско-Никольской.

Точно так же сидела она, обхватив колени сцепленными пальцами рук, у окна с распахнутыми ставнями, и картина эта была про счастье.

Внутренняя (утробная) жизнь, похожая на приоткрытую кладовку со множеством ящичков и шифлодиков. Приоткрывается, оттуда тряпье, старушки, кастрюли, густая, пахучая, точно мясной навар, жизнь.

Зимой всего этого как будто не существует. Но стоит какой-нибудь двери остаться открытой, как тяжкий дух вырывается наружу, стелется, проступает, точно жирное пятно на скатерти (ну как тут не вспомнить мамлеевское «мы все ядим, ядим», – голосом востроносой старушки, идущей через комнаты с шипящей чугунной сковородой).

Внизу четыре квартиры занимает одна семья. Давно все перемешалось. Дети, родители, зятья и золовки. Будто осиное гнездо. Дети давно стали родителями, родители – детьми. Иногда появляется пожилой мужчина с наполненным доверху ведром. Он носит его на улицу. Бог его знает, что там, в этом ведре.

Жизнь семейства кишит изнутри. Крестины, именины, проводы и смотрины. Я вижу старшего сына, высокого тощего точно жердь, с неряшливо растущей рыжей бородой. Он похож на старообрядца. Вскидывает глаза, в них одно и то же выражение. Что-то истовое, из другой жизни. Интересно, куда он ходит каждый божий день со своим рыжим облезлым портфелем? Старики на мое приветствие косятся настороженно, но упорно молчат.

Боюсь окон первого этажа. Скорбных недвижных занавесок. Обычно за ними скрываются раздраженные уличным движением и детским гомоном старушки. Всё-таки, образ старухи Ивановны из детства до сих пор жив.

В памяти моей странным образом удержались пыльные (будто припорошенные временем) желтоватые тюлевые занавески в одном из окон неживого на вид дома в случайном провинциальном городке. Я помню долгий день, себя, родителей, маленького брата, бегущего впереди, и это тяжёлое чувство – будто невидимая глазу жизнь наблюдает за идущими нами, пришельцами из другого, насыщенного событиями и движением мира.

Как, каким образом чудо возникающей тут и там жизни закрепляется и удерживается (благодаря, вопреки) в одном из этих городов, на одной из улочек, почти безликих, почти безымянных, со стертыми выражениями на осевших фасадах.

Пришельцу эта жизнь кажется незначимой, случайной, лишённой смысла. Один день похож на другой. Один и тот же цветок герани в тусклом окошке. Сонное (лишённое пола и возраста) лицо в просвете. Расплывшийся ко всему безразличный кошачий силуэт на подоконнике.

Тревожное чувство сдавливает грудь. Я оглядываюсь на идущих родителей. Они молоды, но кажутся безмерно уставшими, как будто бессмысленное сражение с действительностью высасывает из них силу, молодость и красоту.

Я выдыхаю с облегчением только дома, в окружении книг. Все становится на места. Папа в своем кабинете за пишущей машинкой, я, блуждающая в нескончаемом книжном лабиринте. Чужой непонятный мир остаётся за порогом. Где-то там, за трамвайной линией и автобусной остановкой.

Циклонам принято давать красивые звучные имена. Изольда, Эль Ниньо (малыш, мальчик), Катрина. Наивная попытка очеловечивания дикой стихии. Конечно, если все объяснить и назвать, оно уже не так страшно.

Как, вы говорите, они встречаются, эти холодные и теплые воздушные массы? Над Тихим, говорите, океаном? Захотелось взять в руки учебник географии. Муссоны, пассаты... География считалась так себе предметом. Не тригонометрия. Средний по значимости. Где-то после истории. Но как же уныло беспросветно ползли строки, от раскрытого учебника разило тоской. Все эти экибастузские месторождения.

Я ничего не помню. Все уроки я смотрела в окно. Или на смугло-желтое лицо нашей географички. Душной грузной женщины, с уверенностью крейсера плывущей по классу. Как шла ее властной руке указка. Есть женщины с темными тяжёлыми лицами, с печатью призвания на них. Допустим, нелюбви к детям. У нелюбви этой был отчётливо выраженный запах. Скорее всего, это был запах отечественной косметики. Пассаты с запахом сладкой рассыпчатой пудры, кричащей помады морковного цвета. Муссоны – темно-вишневого, хищного, жирно поблескивающего на узких, точно прорезь в копилке, губах.

Отрезвляющая реальность обыденного. Формирующиеся над Атлантикой воздушные массы никакого отношения не имели к смеющимся девочкам, стайкой идущим из школы. К сливовому дереву у дороги.

К канцелярскому отделу в книжном магазинчике на углу, – там можно было заметить охваченное необъяснимым желанием лицо девочки лет десяти. Блокнотики, ручки, карандашники. Новизна развернутого тетрадного листа, целостность и цельность крошащегося грифеля. Лавка чудес.

В магазинчике торговали похожие на мышей женщины – видимо, из одного семейного клана. Красноватые глаза на белых, будто обсыпанных мукой острых лицах, неслышная походка, бескровные, лишенные рисунка и цвета губы. В помещении царил тишина, – то ли больничная, то ли храмовая. И мышеобразные женщины казались служительницами неведомого культа.

Я часто паслась в этом храме, сжимая в ладони сэкономленные на обедах копейки. На них я покупала крохотные сшитые книжечки для младшего брата, – довольно славные, разукрашенные наивными иллюстрациями. Нечитанная книжица дарила ощущение лёгкого триумфа над предсказуемостью будничных дней. Сколько этих, незамысловатых, точно знаки препинания, книжиц пылилось на полках. Прочитанные, они теряли смысл. Уже с первой страницы проступало разочарование. Их невозможно было перечитывать, упиваясь подтекстом или сюжетом.

Зачем же я покупала их вновь и вновь? Очарование бездумной траты? Лёгкой добычи? Небрежности пересыпаемой из детской руки мелочи?

Как-то, уже повзрослев, я вновь оказалась в книжном на углу. Снисходительно обвела глазами полки. Ничего не изменилось. Притихшая детвора (под строгим взглядом старшей мыши, – или это была постаревшая младшая?). Мучнистые пальцы с заусенцами, запах клея.

Писчебумажное царство, заманивающее мигающими лампами скудного света. Заколдованный мир раскрасок и карандашей.

Я провела там полтора часа. Перебирая книгу за книгой, листая жёлтые страницы, я ловила на себе пристальный взгляд белой мыши, робея (как и в прежние времена), пристыженно ставила книгу на место.

Ещё бы, некоторые хитрые покупатели так хитры, что читают книги не отходя от книжной полки и уходят, не заплатив ни копейки. Вот о чем был ее взгляд.

Да, она была почти права. Давно уже я могла отличить пустышку от настоящей книги, с первой страницы, с несмелого шороха ее, с формы шрифта и расстояния между абзацами. Я раскрывала книги одну за другой, распознавая текст, ощупывая буквы, я предавалась древнему, как мир, инстинкту – познания. Ощупывая, впиваясь, разглаживая, я не могла остановиться, вырваться из заколдованного круга.

Очнулась я уже за порогом. От нехватки кислорода мысли путались в голове, мой будущий сын нетерпеливо постукивал крошечной ступней изнутри, ему тоже не хватало воздуха, он явно пресытился запахами типографской краски, книжных корешков, клея. Выходя, я столкнулась с немигающим взглядом мыши.

Дни магазинчика были сочтены (знала ли она об этом?). В учебники истории (и географии) скоро внесут поправки. Экибастузский угольный бассейн окажется в другой стране, у ураганов появятся звучные иностранные имена. Изольда, Эль Ниньо, Катрина.

Я когда-то поражалась – отчего это бабушке моей все не спится?

В четыре утра долгие пространные беседы у кухонного стола, причем такие, довольно эмоциональные, с подтекстом и надрывом.

Ну, там, слава богу, всегда был подтекст. Жизнь непростая. Лишения опять же. Невзгоды. Тут одну войну как вспомнишь, не до сна, знаете ли. Не до бубликов с баранками. Опять же мастер Яша с четвертой обувной время от времени мерцает. Соседка алкоголичка тетя Паша. Та самая, которая в ногах плакала умоляла не уезжать. Куда вам с ребенком, Розочка, с дитем? В дорогу. А вдруг бомбить начнут? А кормить чем? Дитё малое, чахлое опять же, к тому же единственное. Уж тут как-нибудь сообща. Не дадим пропасть. Кто коржик, кто коврижку. А в дороге что? Жмых один.

Ну да, права была тетя Паша. Жмых и был. Только и был, что жмых. И холод, и вши. Зато живы остались. Как выжили, не спрашивайте. И полы за тарелку горячего мыли. И балетки за пазухой выносили, чтобы дитя подкормить. Вернулись, а тети Пашина семья уже тут как тут. В комнатке шестиметровой полуподвальной. Всей семьёй. Зять пьющий мрачный, пузо чешет. Дочь на сносях. Присмотрели за комнатой, значит. Чтоб чужим не досталась.

И вот, сидит моя бабушка в четыре утра, жестикулирует, обращается со всем своим почтением к Всевышнему, – смотри, Отче, дитя сберегла, и сама (хоть и с туберкулёзом) выжила, мир все же не без добрых людей, там тарелку супа, здесь кусок жмыха, в общем, уговор сдержала. Но и ты будь человеком. Как разделить неделимое?

Не знаю, что ей там отвечал Отче, похоже, ему все время было не до того. Манкировал бабушкиными просьбами и мольбами. Ну, ясное же дело. У него там сотни окошек в чате. Мерцают, заклинают, благодарят. Чудны дела твои. Одно слово – Творец.

Не до квадратных метров. Не до мелких потуг.

Однако, с божьей все-таки помощью, и здесь выкрутились. Ай, сколько радости от простых вещей! От кровати с пружинами. От никелированных шишечек. От платяка с выточками где положено. От того, что жива. Пульс под белой кожей, шаг ровный, лёгкий. Куда вы бежите, девушка? Какая красивая! Девушка! Стойте!

В общем, бабушке моей Розе всегда было о чем поговорить со Всевышним. Там зажал, здесь недодал. С причудами дядька, забывчив по-стариковски, рассеян.

Вот так сидела она на кухоньке полутемной, свет не зажигая, и телевизора никакого не надо! Бабушка моя сама себе была телевизор, и радио в придачу. Такие спектакли! Такие лица и голоса! Они у нее все в голове сидели. И рада бы избавиться, хоть ненадолго, но не тут-то было. Галдят и гудят. Будто места им другого нет, кроме ее головы. Иной раз до такого договорятся!

Боже вас сохрани узнать!

А тут уже и пять, слава богу. До шести совсем ничего. В шесть можно взять кошелочку, потертую на сгибах, пальтишко набросить, балетки, и на рынок. Самая вкусная клубника, если хотите знать, та самая, утренняя.

Проснешься, бывало, только потянешься (ах, как сладок утренний сон), окно раскроешь, а внизу – она. На скамейке. Бормочет, кивает головой. То так, то этак. С

кошечкой своей. Полной меда и молока. Сидит, ноги в балетках вытянув, ивовой веткой от мошкеры отмахивается.

Так вот отчего она не спала. Мошкеры. Твари кровососущие. Иду на кухню, зажигаю свет, ставлю чайник.

Сухари, если их в чае размочить, есть так можно. И голоса, слава богу, при мне.

Вышли на прогулку. Странная ватная тишина, несмотря на то что люди на улице есть. Вроде все как обычно – дети на велосипедах, старушки на лавочках, собачники, пользуясь особым положением, выгуливают счастливых питомцев. Но нет, не то.

Старушки в масках, мамочки с колясками в масках, под домом полицейская машина. Возле овощной палатки и бывшего киоска Союзпечати (теперь там грузинская лавочка с хачапури) встретили В. Она смеётся, прикрывая густо накрашенный рот. Всклоченные, мокрые от жары рыжеватые колечки волос. Большие тяжёлые руки. Груды привольно разложены, не стесненные условностями. Ее тело под заношенным платьем уютно подрагивает. В нем много простой жизни. Глаза блестят, голос сильный, в нем тоже жизнь, энергия живущего легко человека.

Даже на невзгоды она жалуется легко, без стенаний, напротив, с певучим юмором. Жильцы, обои, ремонт, все живое, сиюминутное, неотложное.

Вчера увязался за мной господин переплетчик. Ему не терпелось рассказать еврейский анекдот. Сути анекдота я так не запомнила, обеспокоенная явным беспорядком в нижней части его одежды (одет он был в летнюю рубашку с коротким рукавом и широкие брюки, которые хотелось назвать парусиновыми). Так и слушала этот самый анекдот, и даже чему-то рассмеялась (ведь в конце анекдота положено смеяться), но мысль о беспорядке и неловкости затмила суть истории.

Днём под окнами сидела парочка – она с красным, будто ошпаренным лицом и припухшими (но яркими и молодыми) глазами, в мятой-перемятой одежде, он – серый, пыльный, с кирпичным уже в апреле загаром. С рюкзаками. Тихо проводили взглядом степенно идущего пса. Интересно, есть ли у них маски? Как часто моют они руки, эти двое, не имеющие, по всей видимости, не только куса мыла, но и умывальника, и дома, в котором он должен быть.

Тихо проводили взглядом. Тихо сидят. Дети тихо бегают. Собачки тихо лают. Велосипеды ездят, тихие такие, смиренные.

Все будто по-настоящему, как в жизни. Люди, собаки, деревья. Земля белым цветом усыпана, будто невеста на выданье или балерина на пуантах.

Дивная весна, нежная, тихая, праздничная. Увертюра к чему-то огромному, к началу какой-то новой удивительной жизни.

Все это понимают, вот и притихли. Ждут.

Отсутствие внешних впечатлений (даже не впечатлений, а сюжетов, неизбежно возникающих от ритма и движения самой жизни, от ее поворотов и сбивчивого дыхания), как это ни странно, влияет на сновидения.

Как будто все глубже погружаешься в мир, ничуть не менее красочный и парадоксальный.

В них (в сновидениях) с пугающей частотой повторяются некие неразрешимые в прошлом жизненные ситуации, которые, конечно, разрешались в ту или иную сторону, но оставили тяжкий след именно в силу своей повторяемости и неотвратимости.

Там, в моих снах взлетающие самолёты, чемоданы с разноцветным тряпьем, которое тянется, волочит за мной, бегущей, опутывает и не даёт вдохнуть и выдохнуть. Тряпье это, точно серпантин, цепляется за пальцы, вспенивается и взрывается, решительно не желает укладываться ни в какие геометрические формы.

В небе тянется след. Рейс, на который я не успела, и по-видимому не успею никогда.

Или лавка, полная прекрасных свежих и вычурных яств, и очередь с тележками (ухоженных и капризных покупательниц, у них пожилые и надтреснутые голоса), – они напирают, настаивая на обязательности выбора, да я и сама не прочь все это купить, но... растерянно (и подавленно) перевожу взгляд с одного яства на другое, – чего тут только нет, – и все виды салата, свежего, с его влажных листьев стекают капли воды, – это хаса, в ушах переливается, надрывается многоголосье израильского шука, – вот круглая, а вот чуть горьковатая, особо полезная, а вот кресс-салат, а вот мощные стволы сельдерея, а вот «мелаффоним» (ивр.) – огурчики, хрустящие, полные целебного серебра в любое время года. А вот многослойное нечто, поражающее своей сложносочиненностью, я слышу аромат ванили и корицы, пьянею от острого духа сырных кругов, тонкого аромата вин.

Вот-вот наступит шабат, моя тележка пуста, но я не в состоянии выбрать, – слова застревают в горле, и, вымученно улыбаясь, тычу пальцем в нечто, – я без очков, и наименование этого нечто прояснится в тот же миг, – толпа напирющих капризных старух взорвется хохотом, – да вы посмотрите на нее! Она таки выбрала – вчерашний сэндвич, упакованный в целлофан, – такой, казённый сэндвич с листиком тривиального сыра и увядшим кружком помидора. Я и сама осознаю смехотворность и убожество собственного выбора, но выдыхаю с облегчением (не без сожаления провожая взглядом остающуюся на витрине и в глубине лавки красоту), – выбор сделан, бери свой бедный сэндвич и не мешай другим.

Я с радостью покидаю этот душный, обезумевший от невозможности выбора мир, – в моем все просто, выбора почти нет. Испытываю лёгкость, идя с пустой тележкой вдоль мертвенных рядов. Ни спаржи, ни антрекотов, ни сырных кругов.

Ни распятых мясных туш, ни винных этикеток. Я делаю шаг и останавливаюсь у кофейного стенда. И просыпаюсь.

Раз в день должна быть горячая пища. Хоть умри, а должна. Обед или ужин, или два в одном, неважно. Нет, не ложкой из кастрюли, не вилок из сковороды, не надо свисающих уныло подтяжек, подштанников, семейных трусов и пижам.

После душа укладываем все, что можно уложить, придаем чертам чуть надменное выражение, избавляемся от домашней расхлябанности, подбираем... это самое. Да. Держим спину.

Стол сервируем. Салфеточка под углом, в тарелке желательно не менее двух цветов, пусть запах идёт такой, что голова кругом.

Вспомнилось глупое детское слово «подливка». Подливочки мне. Да, ещё. Девственно белый рис оформляем соусом. Специи не забываем. Пустой бокал, сами понимаете, не к добру. Если есть чем, заполняйте, можно воду с лимоном, компот, кизилловую водку и табуретовку.

Сегодня обнаружила остатки белого сухого (на дне бутылки), долго цедила, пока варился рис. Хочется сделать подарок скучающим рецепторам. Побаловать разнообразием.

Помните, от чего сошла с ума мама Чарльза Спенсера Чаплина? Да, отсутствие домашних обедов. Ведь, кроме банального чувства голода, проваливается кульминация. Итог и смысл дня утопает в десятке монотонных действий, лишенных сюжета.

Сюжет – вот что жизненно необходимо сидящему в вынужденном заточении. Бедная мама Чаплина, бедные мы.

Жизнь без аджики, ткемали, сацебели и киндзмараули похожа на тягостный сон. Похоже, из всего перечисленного в избытке имеются только специи. Но это гораздо лучше, чем ничего. Горстка того, щепотка этого.

Главное, соуса не жалейте. Постелите скатерть, плесните в бокал. Выключите все, что можно выключить, но полоску заката не забываем. Если вы ее всё-таки видите – значит, все состоялось.

Скатерть, щепотка, глоток. В сюжете важны детали. Спросите у Чаплина.

Парижа больше нет.

Все вроде бы на месте – Нотр-Дам, Монпарнас с Монмартром, и Елисейские, и Булонский лес, и прононс, и витрины, в них отражаются живые лица настоящих парижан.

Я узнаю их по твоим рассказам, – по сказанному и невысказанному, по твоим мечтам о нескончаемом путешествии, имя которому – Париж.

Париж черно-белый, сошедший с экранов и старых снимков, – я вез его с собой, – очень бережно, боясь повредить в дороге, – точно хрупкий предмет, требующий особого, трепетного обращения, – обернутую в ватный кокон стеклянную игрушку.

Словно древний книжный лист, он рассыпался, облетал, испарялся, оставляя после себя тонкий, горьковатый шлейф. Шкатулка из комода, на дне которой – несколько пожелтевших открыток и пузырек духов, – настоящих, из Парижа, – скажешь ты, вдыхая терпкий аромат, – вернее, то, что от него осталось.

Духи, открытки, а еще песенка уличной девчонки, – смешная, страстная, трагичная, – трам, парам, парам...

Парижа давно нет.

Может, он остался там, на дне комода? Или в бороздках, исцарапанных иглой?

Я знаю, они еще живы, все эти прекрасные Мужчины и Женщины, – встречаясь глазами, они все еще ведут свой бесконечный диалог, – на прекрасном французском с прекрасным прононсом, – пожалуй, его стоит внести в Красную книгу, как и всю добрую старую Европу вместе с круассанами к утренней чашке кофе, – круассаны есть, мама, и кофе, представь себе, тоже.

«Le Monde» в руках пожилого господина в плаще и берете, – того самого, с морщинками вокруг водянисто-голубых глаз, – я сразу узнал его, – он долго выбирал круассан, и лицо его было детским, поглощённым важностью момента, беззащитным каким-то, – он окунал булочку в чашку с шоколадом и осторожно пережевывал сладкое тесто, – вместе с новостями, улицей, воркующими голубями, – вместе с гарсоном-китайцем и гарсоном-алжирцем, и еще каким-то человеком в бурнусе и золотых шлепанцах.

В глазах его отражался Париж – черно-белый, со старых открыток, – он еще отражался и переливался там, на глубине зрачка и поверхности, испещренной красноватыми сосудами сетчатки.

Человек, побывавший в Париже, остается бесконечно очарованным и навеки влюбленным.

Даже если Париж он видел мельком, краем глаза... Даже если он видел его в проеме иллюминатора, – все эти полукружья, ромбы, квадраты и прямоугольники, в которых затерялись и Елисейские поля, и Эйфелева башня, и Нотр-Дам де Пари и Монмартр, и, конечно же, плас Пигаль и Мулен Руж.

Вот он, мир Азнавура, Дассена, Пиаф. Где-то там, за магистралями и плавными лентами шоссе, существует он, живет своей обыденной жизнью, картавит, грассирует, заказывает горячие круассаны, выходит из супермаркетов и мелких лавчонок, похрустывая

на ходу свежим багетом. Серое небо над Парижем. Серое, сырое, весеннее. Небо над Парижем – это уже кое-что. Стоит пересечь границу, как из гражданки и гражданина вы превращаетесь в мадам, мадемаузель, мсье. И, представьте, вам это нравится.

Мерси, мадам, оревуар, мадам.

Позвольте, это мне он улыбнулся такой тонкой, ироничной, лукавой улыбкой – это все мне? Вся эта бездна непринужденного очарования, игры ума, манер, изящества – мне? Мне? Как равной, возможно даже, своей, близкой, способной понять и оценить французский прищур и сарказм, и такую милую, совершенно обезоруживающую иронию.

Пролетая над Парижем, вы успеваете влюбиться на всю жизнь. Влюбленность – это дуновение, сладчайшая из иллюзий, предчувствие возможного и невозможного одновременно. Жизнь, которую вы бы прожили иначе.

Ах, если б только... Когда-нибудь...

Закрыв глаза, раскачиваетесь в такт французской песенке, разученной на уроках французского. Очень легкомысленной, но полной того самого шарма. Французский язык нам преподавала настоящая француженка. Возможно, всего лишь наполовину, но и этого было предостаточно. Вполне достаточно для торопливых до задыхания шажков, горячих глаз, не томно и не дымчато-карих, а живых, полных нездешнего огня и смеха, – и непременно яркого платка на смуглой шее.

Лидия Мартыновна была прекрасна. Ее можно было только обожать, обожать страстно, с замиранием и нежной тоской.

Отец ее был членом французской компартии – и это единственное, что мы знали о ней.

У француженки была астма. Астма, внезапные приступы гнева и сложный аромат духов, в котором не последнюю роль играл ее собственный немного душный, терпкий запах.

Увы, французский так и не стал моим вторым языком.

Впрочем, как и прочие языки, в которые я влюблялась безответно, страстно, но непоследовательно.

В моих отношениях с языками хватало первоначальной очарованности, не доходящей до длительных и постоянных отношений. Французский был и остался мечтой, светящейся точкой, маяком, но уж никак не стойкой привязанностью.

Думаю, главным уроком, полученным на занятиях Лидии Мартыновны, был урок настоящего шарма. Этот кокетливый платочек, эта вздымающаяся грудь, этот быстрый и взволнованный, с придыханием говор, этот головокружительный прононс. Согласитесь, нечастое явление в советской школе – мрачноватом трехэтажном учреждении, в котором властвовали истеричные, закомплексованные и чаще не особо счастливые женщины.

Кстати, с прононсом у меня как раз все хорошо.

В прононсе равных мне мало.

На прононсе, и только на нем, держался мой школьный авторитет. Правда, недолго. Пока не обнаруживалась (а она обнаруживалась всегда!) огромная зияющая пропасть, в которую бесследно проваливались все эти проклятые артикли, правильные и неправильные глаголы и обстоятельства места и времени.

Первый вечер в Париже. Привкус египетского кофе, затхлость временного жилья, в котором могут сосуществовать либо весьма стесненные обстоятельствами, либо влюбленные, либо студенты, что зачастую одно и то же.

Первая мысль – на это серое белье я не то что не лягу, даже не присяду, бог знает, кто на нем нежилась вчера, и полотенца нет, и газовая конфорка нерабочая, и бог знает для кого это жилье, возможно, сдают его на час-другой изголодавшимся по плотским утехам, и вторая, тут же, а хрен с ним, с бельем этим невнятным, главное – Париж! Зачем конфорка,

когда внизу (только на лифте спуститься) – настоящий кофе, и асфальт в трещинах, и улица, и все настоящее, живое.

Гул планетарный, космический, и сквозь него – очарование мелочей, территория частной жизни, свободы, шарм повседневности.

У каждого он свой. Либо оставшийся неисполненной мечтой, либо увиденный (все же) аномально жарким днём в изнемогающем от духоты городе.

Девочки, вприпрыжку марширующие по дорожкам, усыпанным гравием, клошар на ступеньках, гитарист из Андалусии (признаюсь, с ним я изменяла застывшей в камне вечности, – нас, почитателей фламенко, собралось некоторое количество (а если точнее, всего двое – я и некий совершенно беззубый, но живой и весёлый бродяга в кепке и рваных джинсах), – мы щелкали пальцами, перебирали ногами и обменивались понимающими взглядами, время от времени вскрикивая «Оле!». Мы даже поболтали немного, на нашем, непередаваемом языке страстных почитателей жанра.

Девочки (в своих развевающихся платьицах) прыгали и пели, гитарист перебирал струны, клошар, щелкая пальцами (средним и большим), танцевал (с экстатически прикрытыми глазами, с вытянутой в струнку спиной).

Потом стояли в тени, прислонившись спинами к прохладному камню, и слушали летний Париж 2018-го года.

И никуда не спешили, потому что есть же какие-то вечные моменты, неподвластные времени и стихии.

Лучший кофе в Париже варят на улице Белой Королевы. Арабский кофе с кардамоном, крепкий, сладкий, густой как нефть, тяжёлый как ртуть. Энергия, заключённая в глотке этого напитка, способна оживить полумертвого от тяжкой жары туриста. Вообще-то, это единственный вариант настоящего кофе в этом городе. Все прочие производные от эспрессо-американо-макиато-латте-капучино – для американских туристов.

В кальянной радушного египтянина не ступала нога женщины. Мужчины, мужчины, мужчины. В крайнем случае мальчики. Мальчик – сын хозяина – с любопытством поглядывает на внезапную гостью. Сладкоглазые мужчины, пребывающие в полудрёме, недоуменно провожают взглядами. На улице Белой Королевы звучит Умм Культум, что могло бы казаться абсурдом, но отнюдь не кажется таковым.

Если около часа ночи для вас выносят один единственный столик, бутылку и два бокала, извиняясь, что повар уже не у дел, и, пританцовывая около стойки, терпеливо ждут (не нависая и не проходя сотни раз со шваброй «вас много, а я одна»), – это Париж.

А в это время по этой же улице, чуть поодаль, ползет некто, преодолевая дюйм за дюймом, но этого мы пока не видим, так как мизансцена разворачивается за спиной, – а все, что перед нами, это сверкающая проезжая часть, огни в домах напротив, белое охлажденное (да вы сопьетесь там, милочка, в этом вашем Париже), и, собственно, что ещё нужно, – бармен пританцовывает у стойки, впрочем, не один, к нему заходят ещё двое, – и все трое молоды, красивы, смешливы, излучают... А в это время, взвизгнув тормозами, на полном ходу останавливается красное спортивное, допустим, авто, и вот уже владелец его – поджарый, с каскадом светящихся волос, стоит на коленях, придерживая безвольно падающую голову в плюшевых плотных завитках, – все слишком далеко, чтобы я могла видеть и помнить подробности, но в иные моменты зрение уступает иным органам

восприятия, когда видишь не глазом, не встроенным в него хрусталиком, а кожей, каждым волоском на ней, – merde! – это тот, владелец спортивного авто, юный шеголь, прожигатель ночных часов и минут, стоя на коленях, пытается достучаться до брата по разуму, но с хрипом вздымается впалая грудь, крупные капли пота стекают по лбу и щекам, – merde, – кричит неведомый спаситель, – ты жив, друг? Отзовись! Тебе плохо?! Подожди, сейчас, сейчас, – люди, господа, ситуайен, да кто-нибудь, помогите же, видите, человеку плохо, ведь умрет, может умереть, – не знаю, то ли сила его слов, то ли мера отчаянья, а только лежащий на мостовой оживает, и зажата в ладони купюра свидетельствует о том, что жизнь полна всяческих чудес, – алая тачка уносится в ночь, и тот, кто ещё минуту назад умирал, корчась в невыразимых муках, бредет, пошатываясь, за новой дозой, продлевающей блаженство.

Парижу приблизительно двадцать два, максимум тридцать пять, – за редкими исключениями, и то исключением следует считать всего лишь поражение, добровольную капитуляцию, – эй, дружок, похоже, они все тут знают секрет волшебного эликсира, – и пожилой клошар, подпирающий стену спиной, – вот он оборачивается, – все тот же блеск молодых глаз, живость, смешливость, ирония, – морщины, проступающие на худых руках вены – это всего лишь некое недоразумение, дань, уплатив которую, ты можешь бежать дальше, вровень со всем бегущим вперёд, – все гладкокожее, нежнолицее, смеющееся человечество примет тебя, дождетсЯ, возьмёт на поруки, впишет в этот живописный уголок на Сен-Мишель.

Бульвар на плас Пигаль, – ни одной свободной скамьи, – всюду кальяны, темные лица в капюшонах и без, слышна русская речь, – вот от чего вздрагиваешь, ожидая подвоха, – вот этот набор туристических открыток и есть Париж? Тот, о котором столько? Похоже, это удачно выполненные муляжи – открытые кафе, смеющиеся люди, – с Монмартра хочется бежать, но зной, духота, усталость, похоже, прохлада возможна только здесь, – мадам, мсье, не желаете ли? Только у нас, – не то чтобы праздник, нет, праздником здесь и не пахнет, – раз и навсегда прописанные борозды на древесном улыбающемся лице, – о, проходите, – блаженный полумрак, шесты, помосты, зеркала, – угадываются силуэты юных вышколенных тел, – за столиками немногочисленные туристы, они настроены доброжелательно и бурно аплодируют танцующим.

У Мулен Руж фотографируется восточное семейство – низкорослый, с густыми усиками отец, обернутая в цветные шали мать и полнотелые девочки-отроковицы, послушно улыбающиеся в камеру.

Простите, а как отсюда выйти? Где заветная дверь в иные миры? Когда крошечный «бар-умывальный» «Гайя» был выложен голубой плиткой, а «Бык на крыше» на Буасси д'Англе был все ещё «Быком»? Где юные девы с нежными бедрами распевали «Глоточек птичьего молока, кусочек молодого быка»?

Где Монпарнас Бодлера, Мане, Аполлинера? Дерена, Пикассо, Жакоба, Уистлера? Где Модильяни, Вламинк?

Где старая лампа Таможенника Руссо?

– Мы, французы, любим есть сыры так. От простого к сложному. По кругу тарелки. Вначале – сладковатый эмменталь, а потом уж стекающий с кончика ножа бри, нежный как слеза камамбер, и этот, острый, с привкусом паленой шерсти и нестиранного исподнего.

Я вижу, как сладострастно приоткрывается рот, он наполнен слюной, – глаза экстатически прикрыты, – пухлая ладонь едва заметно касается моего плеча, – хозяин заведения, седовласый, уютный, весь состоящий из кругов (наверное, сырных) и овалов, протирая бокалы, подмигивает из-за стойки, – ему необходимо быть уверенным в том, что мы оценили его внимание, заботу, тарелку с сырами и вкус вина. Между столиками снует восточный человек по имени Муса – о, сколько достоинства в прямой спине, в чеканных чертах строгого лица. Мадам, мсье, – сыр сыром, но чего стоят движения смуглых рук, отточенность каждого жеста? Он накрывает так, будто вы одни в целом свете, – он, вы, столик, вино, эта непохожая ни на одну другую ночь – для вас – первая в Париже – и от

действий его, собственно, виртуозного действия, зависят судьбы вселенной. Возможно, так оно и есть. Отлаженный десятилетиями механизм, прополотые столетиями дорожки. Сыр остаётся сыром, вино вином. Париж – несмотря ни на что, Парижем.

Париж – это они. Безмолвный чудак, слоняющийся у стойки бара, странноватый молодой (относительно всего прочего) человек, одетый со всей тщательностью денди, но, похоже, ужасно одинокий в своей стародевичьей тщательности...

Улыбка, возникающая словно по мановению волшебной палочки, – на любом (оставшем или поникшем) до того лице, – тебя здесь ждали, – сообщает она, расцветая, тебя здесь ждали... и будут ждать, несмотря ни на что.

Париж стар, очень стар, – обилие серой пыли, клубящийся из-под подошв, истертые сидения в вагоне метро (о, злосчастная зелёная ветка, похоже, туда не поступает кислород), вот и юная парижанка (скулы, блестящие выпуклые глаза, курчавая шевелюра, темные впадины у острых полированных ключиц, – благородное дерево и бронза, шлейка опасно соскальзывает с точеного плеча, за алым ртом угадываются клавиши совершеннейшей клавиатуры), – вот и юная парижанка, возложив ногу на ногу, обмахивается веером, – изгиб ее спины, подробность выступающих позвонков, лик подобен маске, – Париж стар, если судить по испещренной линиями темной ладони, в которой су и сантиметры, перекатываясь, образуют бесспорную величину в один евро.

Сметая крошки со стола, гарсон поднимает голову, и наши взгляды совпадают на долю мгновения, – не знаю, кто успевает улыбнуться первым – я, чувствующая себя своей в этом городе? Он? Кто успевает улыбнуться первым, – конечно же тот, кто, сталкиваясь с вами (в переходе, на лестнице, в супермаркете), – выдыхает «бонжур», добавив непременно «мадам» (мсье), отчего спина ваша выпрямляется, подобная летящей стреле, походка пружинит, душа танцует и поет, даже если за пять минут до того собиралась заплакать – если это случается с вами, господа, можете не сомневаться, – вы в Париже.

«Невидимый, ты можешь присесть на обочине. Теперь видно, как там, за стенами, плачут окна города» (Леон-Поль Фарг).